



Антропологический взгляд на мемуарную литературу о детстве

Среди многих антропологических ценностей человека особое место занимает детство. Между тем, в науке, в искусстве, в художественной литературе его почему-то стали предавать забвению, а то и «табуированию», хотя, на самом деле, «все мы вышли из детства».

Современная массовая культура заслонила собой детство уже нескольких поколений, лишила его исторической памяти, возможности использовать в качестве веских доказательств и понимания поведения взрослых людей, принадлежащих к разным когортам и слоям общества. И это вопреки тому, что пути социализации детей в разное историческое время не могли быть одинаковыми, похожими друг на друга, поскольку формировались той исторической средой, в которой ребенку суждено было переживать и делать первые попытки осмыслить происходящее с ним.

В тот период жизни, когда еще не ты идешь по жизни, а тебя ведут по ней, не так-то просто маленькому человечку все понять, тем более сделать по-своему. Ведь это детство. Однако, я имею в виду не то розовое детство, о котором мы всегда вспоминаем, а другое, деформированное такими страшными социальными коллизиями, к каким относятся войны и революции. Я имею в виду не только детей войны, но и их детей. Об этом надо помнить всем, в том числе литераторам и кинодраматургам.

Состарившиеся сегодня дети войны остаются пока единственными носителями индивидуальной памяти, которая, к сожалению, так и не трансформировалась в память социальную, и если такая память и имеет место, то с явными признаками социальной амнезии. СМИ в какой-то мере провоцируют пожилых людей вспомнить прожитое детство, напоминая о войне в том или ином ракурсе. Эти люди оказались сегодня между собственными воспоминаниями и напоминаниями о войне со стороны, когда о ней говорят, игнорируя детей, являющихся субъектом этого величайшего исторического процесса.

Здесь мне хотелось бы рассказать о некоторых образах детства, порожденных второй мировой войной в сознании моего поколения. Конечно, в художественной литературе такие образы обычно порождаются культурой взрослых людей, в том числе и писателями, судьба которых в какой-то мере была опалена пожаром военной грозы или ее зарницами. Однако писатели – это совсем небольшая прослойка нашего общества. К тому же не всегда имели возможность создать убедительный образ военного детства из-за жесткого идеологического контроля описания героики войны. То, что было ими создано в детской литературе, хорошо послужило воспитанию послевоенных поколений.

К сожалению, образы персонажей в детской литературе о войне лишены антропологической окраски. Они не несут в себе физические или психологического переживания страха, голода, боли, унижений, болезненного ощущения телесности или душевного дискомфорта, имевшие место в

детском возрасте. Это было не принято показывать в недавнем прошлом. А между тем, сама война, как процесс борьбы за власть, как специфическая массовая форма поведения людей на фронте и в тылу – не всегда были понятны детям, не смотря на то, что они чаще всего становятся ее первыми жертвами, как с той, так и с другой стороны воюющих.

Я давно порывался изложить это все на бумаге, но всякий раз, как только появлялся первый абзац – рука опускалась, а тетрадь отодвигалась подальше. Я ловил себя на том, что, чем более мы живем, тем интенсивнее мое воспаленное воспоминание насыщается многочисленными домыслами увиденного, услышанного и пережитого в детстве. Между тем, эти домыслы со временем становятся восполнением моего прошлого детского недомыслия. Они – продукт рефлексии пожилого человека, чье детство так и не созрело в детстве. Оно было ампутировано обществом, оставив для меня жизнь – деформированной, искалеченной, неполноценной. Сейчас я отношусь к воспоминаниям детства двояко: с одной стороны – стараюсь не включать его в пределы моего уже стареющего сознания, стремлюсь избавиться от него, как от предмета горечи и сожаления. Но, с другой стороны, ловлю себя на том, что не могу раскаться за свои детские поступки, не нахожу в себе чувства смущения или стыда.

Вспоминая себя в раннем детстве (1940-1945 гг.), невольно задаюсь вопросами: «Кто я такой? Почему это произошло именно со мной? Где моя родина и кто мои родители?»

В группе детей, в которой я рос в те годы, царствовала особая субкультура, насыщенная отсутствием гуманного общения со стороны взрослых, обязанных в рамках их должностных обязанностей исполнять функции родителей в период младенчества. Можно только догадываться, что с младенцами в таких заведениях много не разговаривают, не агукают. Дефицит диалога явно вызвал наш первый физический недостаток – пусть не немоту, но тяжелейшее поражение слуха и речи. Возможно, это было некому или некогда делать. За провинность наших родителей с нами тоже перестали разговаривать по принципу «А с вами мы вообще разговаривать не хотим». Вот почему позже мы проявили какое-то странное умение видеть, думать и чувствовать. Мы были во власти порождаемых нами представлений, лишенных понимания, но не лишенных каких-то странных законов логики. Логика маленьких старичков детского возраста. Это заметили позже наши воспитатели.

Уже позже мы начинали понимать, что откровенное безразличие к нам формирует в нас такое же безразличие к происходящему. Тогда мы еще не могли понять, что именно происходило с нами, не догадывались о том, что наши души начал разъедать быстро текущий процесс фрустрации, наполнявшей наши души изощренно вопросительным отношением к жизни, на фоне ежедневного, систематического неудовлетворения элементарных жизненных потребностей. Если даже нам и выпадало что-то, то в форме, напоминающей подавание или снисхождение. Это явно унижало нас, вызывало отвратительную обратную реакцию в виде частой вспышки агрессивности: циничной, злой, беспощадной.

Наш «спецдетсад» сначала находился в г. Красногвардейске, (ныне Ленинградская область, г. Гатчина). Позже, с началом войны, нас почему-то перевели в г. Колпино: то ли в детскую колонию, то ли под надзор военизированной охраны Ижорского завода. Уже здесь я хорошо запомнил другую воспитательницу – Малинину Анастасию Павловну. От нее мы узнали, что родители наши «враги народа», проникшие в «ЧК» и потому Родина их наказала. Видя, как это нас потрясло, она обняла одного из нас и сказала, чтобы мы не чувствовали себя сиротами. – Теперь ваш отец – великий Сталин, а мать – наша Родина, СССР. И если завтра будет война, мы все должны пойти на врага за нашу Советскую Родину. А теперь... разучим новую песню о Сталине...

Надо заметить, что еще в Красногвардейске нас рано научили азбуке и чтению. Наизусть мы знали некоторые стихи Маяковского, Маршака, Барто, Чуковского, Михалкова. Мы распевали песни, многие из которых я не могу забыть и сегодня: «Широка страна моя родная», «На просторах Родины чудесной», «Шумят плодородные степи», «По военной дороге», «Нас не трогай», «Не скосить нас саблей острой» и много других. У каждой из этих песен был красивый, распевный мотив. Особенно мелодичными были песни о Сталине.

Уже в Колпино был такой случай. К нам пришли важные военные гости. На них была красивая форма. Нас построили для исполнения песен. Надо отдать должное – в приюте нас нарядно и чистенько одевали. Мы пели под баян, на котором играла еще одна воспитательница. Немолодая. Она часто курила и подолгу кашляла. Но мы все ее любили за хорошую музыку. Так вот. В гости пришли военные. Первой мы стали петь «На просторах Родины чудесной». В ней, в припеве, дважды повторялись две строчки:

«С песнями, борясь и побеждая,

Наш народ за Сталиным идет»

Мы спели ее хорошо. Уже приготовились петь другую, но один военный остановил нас и попросил пропеть снова эту же песню, но только один куплет. И мы еще раз спели припев. Военный дяденька, что-то шепнул другому, и попросил нас еще пропеть это же еще раз. Нам стало даже весело, и мы пропели третий раз. После этого нас быстро удалили.

На другой день нашим пением занялась... наша медсестра. Она просила нас петь эту же песню «более внимательно»: в припеве, надо было, оказывается, ударение делать на слове «с песнями». Только много позже мы поняли, что ударение делали не там, где положено и потому, вероятно, звучало как «С песнями борясь». Потом по заплаканным лицам нянечки и медсестры мы поняли, что произошла какая-то неприятность. С тех пор баянистку мы больше не видели и пели без музыки.

После этого нас учил петь другой музыкант: паренек, «дядя Саша», по фамилии, кажется, Савицкий. Именно он потом помогал грузить нас на грузовик в январе 1942 года, когда нас вывозили в тыл через ладожский лед. Каждого из нас он бережно завертывал в одеяло, перетягивал веревочкой, а за пазуху вкладывал два пакета с сухарями, на которых (некоторые из нас долго хранили пакеты... чудесный запах хлеба) было написано «Сухари. ОРС Ленинградского НКВД облисполкома».

В кабине грузовика ехала воспитательница Малинина, в полушубке, в платке и в валенках. Мы же лежали под брезентовым тентом, на соломе, и она к нам заглядывала через задний борт на каждой остановке. Каждый из нас должен был не шуметь и не высовываться, хотя мы от холода уже давно освободили ноги от бечевки и согнули их под живот. Помню только, как было страшно холодно, и мы скулили, как щенки, объевшись за один присест сухим пайком, не имея возможности справиться естественную надобность, страдая от безысходности происходящего. Позже мы вспоминали этот путь, как страшный сон, когда всем нам очень хотелось умереть. Нас все время клонило ко сну. Мы замерзали.

Позже мы слышали голос Малининой. Она просила людей перенести нас в вагон-баню. И вот здесь мы снова узнали, кто мы есть на самом деле:

– Сама таскай свое говно!

– Да нельзя же их сразу в баню. Оттирать их надо снегом...

– Малинина! Разбирайся быстро с этими вражьиными выблядками. Машина должна вернуться в Ленинград.

– Господи! Да они же мертвые... Куда же их?

– Дети! Дети! Кто меня слышит. Это я... Анастасия Павловна. Сумка с документами у Полиночки... Полиночка, сделай все, как я тебе сказала... Храни вас Господь...

Больше Малинину нам увидеть не пришлось... Кроме меня. Спустя много лет.

Странно, но страдания делают человека сильнее. Возможно, что некоторых из нас Бог действительно хранил, хотя о нашей религиозности я бы не взялся судить строго. Это очень сложный вопрос. Хотя только теперь осознаешь, что все наши болезни, горечь утрат и страданий уже тогда были источником еще неосознаваемой нами религиозности. Постоянно переживаемые нами физические и душевные страдания окрашивали наши отношения со взрослыми чаще всего в черно-белые тона: мы их или любили беспредельно, или ненавидели люто.

Нельзя сказать, что во взрослых людей веры у нас не было совсем. Мы относились к ним настороженно, внутренне съезжившись, собравшись в колючий комочек. Мы никогда первыми не вступали с чужими в общение, к тому же почти все мы были махровыми заиками. Деформация речи поразила нас беспощадно и жестоко. Слушать нас, и даже видеть процесс озвучивания мысли, было явно неприятно. Это было невыносимо и для нас самих.

Единственный, с кем мы могли всегда общаться, был Бог. Именно Анастасия Павловна научила нас молитвам «Отче наш», «Господи, Иисусе Христе», «Богородица, Дева радуйся!» и другие. Не могу сказать за всех, понимали ли мы все суть того, о чем мы беседовали с Боженькой, как мы его называли. Но факт остается фактом. Он был для нас свят. И нам порой было очень стыдно за себя перед Ним, когда мы поступали гадко, зло, омерзительно. Конечно, вся наша детская злость происходила от бессилия и безысходности. Я хорошо запомнил небольшую иконку-складник Преподобного Серафима Саровского, которую нам осторожно приносила в приют Анастасия Павловна, и потому я сразу же узнал ее в изголовье умиравшей воспитательницы. Осенив себя крестным знаменем, я низко поклонился им обоим.

Отсутствие отца и матери делало нас явно неполноценными. Нашими лучшими учителями тогда могли быть только опыт жизни без родителей и наши собственные переживания, обогащавшие этот опыт, ставший для нас неписанным учебником-самоучителем. Может быть поэтому, мы очень рано увидели в себе Человека. Только сейчас убеждаешься в том, как оказалось здорово, увидеть жизнь сначала из глубины, со дна. Зато потом, спустя годы, уже с вершины лет, становилось все понятным и ясным. Но... такой метод познания жизни я бы никому не пожелал. Наша маленькая группа детей в возрасте 10-12 лет уже обладала тогда своей собственной субкультурой, отличающейся от домашних ребят и даже от сирот нормальных детдомов. Вспоминаются разные лоскутные обрывки событий, точнее сказать, «событий», частички нашего бытования, личной жизни, забвению не подлежащих. Лучше всего запомнилось то, что было пережито и пропущено через сердце. Но кто-то может не поверить, и сказать, что все это миф. Ну и пусть себе говорит. Это действительно мой личный миф, но на основе воспоминаний детства. Мой миф объясняет мир моего собственного детства с высоты семидесяти лет жизни. Этот мир я пережил еще у подножья, в начале восхождения на высоту. Мой миф о детстве ведет себя как культурный миф. В нем все нормально. В нем ненормально только само детство. Его патология в том, что война деформировала его, лишила многого того, что ребенку положено по правам Человека. В этой связи свой миф я воспроизвожу так, как я его пережил. Мои воспоминания – это тоже встреча с детством. Только очень запоздалая. Дело не в том, что конкретно ты помнишь, а в том, как этот факт сегодня интерпретируется. Мы – дети войны, а у каждой войны есть свои дети. Какая война, такие и дети. Одно из безобразий любой войны – это сироты. Они вечные спутники войны и революции. Но сирота в страхе до тех пор, пока люди продолжают нести друг другу зло. И этот страх остаться одному порождает в сироте безразличие к самому себе. И тогда он ожесточается, а в его душе жестокость, страх и безразличие пожимают друг другу руки...

...Когда нас, завернутых в одеяла, везли в грузовике из города Колпино в разрушенный Ленинград, а потом в лес, чтоб дожидаться темноты, а потом ночью через ледяное крошево Ладожского озера, мы страха не ощущали. Наше сознание замерзло. Оно не могло осознавать того, что с нами происходило. Хотелось только тепла, тепла, тепла. Мы были стянуты суконными одеялами и не могли пошевелить конечностями. Мы испражнялись под себя и это окончательно унизило нас, раздавило... Мы превратились... в дерьмо. Уже позже, тех, кому довелось добраться до Уфы и оказаться в спецдетдоме, все чаще называли именно этим словом, только в простонародном варианте....

Некоторые воспитатели звали нас за глаза еще и «недоносками», добавляя порой еще и эпитет «вражьи». Из рассказов этих же воспитателей мы знали о том, что некоторых из нас действительно «донашивали» в колонии г. Колпино, на территории знаменитого Ижорского завода.

К сожалению, мой детский разум не мог еще тогда воспринимать, тем более понимать, многие факты жизни. Были только представления, в ткань которых проникали только те обстоятельства, которые касались лично меня, моего тела, моей души. То, что причиняло боль, оставалось в памяти надолго, в виде картинки, оформленной в рамочку военного и послевоенного времени. До Уфы нас довезли не всех. Нас сразу же отправили в деревню Степановка, что рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Хватило двух саней-розвальней, чтоб уложить в них нас всех, завернутых по двое в большие тулупы. Для нас выделили отдельный дом на горе, которую почему-то называли Барская. Говорили, что раньше это была барская усадьба. Вокруг высокие дубы и липы. А внизу красивая речка с не менее красивыми берегами.

В Степановке был еще один детский дом, с сиротами местного происхождения, которых позже, после войны почти всех разобрали вернувшиеся с фронта родители. Однако нас, «рожденных в Крестах», это не касалось. Что касается специфики нашей группы, отделявшей нас от других детей детского дома в Уфе, то она была понятна только работникам НКВД и нашей заведующей: мы принадлежали к контингенту репрессированных родителей, бывших работников НКВД Ленинграда, в котором был убит С.М. Киров.

Взрослея, мы постепенно узнавали всю ущербность нашего появления на свет. Старенький врач «дедушка Вася», фамилия его Костяев, был когда-то «земским врачом». Мне он запомнился как святая личность. Смазывая наши бесконечные гнойные нарывы ихтиолом, он шептал нам: «Не горюй, детка. Мы здесь все на одном корабле. Одни, правда, на палубе гуляют, а вы пока в трюме посидите. Ну, уползай, вонючка! Эк живот-то раздул... Весь в зеленке... Рахит-малахит». Выползая на лужайку Барской горы, на которую местные жители редко поднимались, мы усаживались в кружок, снимали свои «лохматы» и вылавливали из них вшей. Это уже входило в

привычку, поскольку эти твари заставляли чесаться. Смотреть на нас со стороны, видимо, было смешно. Иногда проходящие дразнили нас: «Эй, рыбаки! Много рыбы наловили в штанах своих?». Мы им отвечали матерно, вызывая у прохожих адекватную реакцию. И тогда «дедушка Вася» научил нас не злиться, не материться в ответ, а отвечать: «Каких наловили – выбросили, а каких не поймали – забрали себе». Сначала мы и сами не понимали смысла, а потом дошло. Умный был дед.

Вскоре мы разузнали от него, что по достижению двенадцати лет нас положено отправить к родителям по месту их нахождения. Где они находились, мы догадывались, вот только в каком конкретно месте – не могли знать.

Почему-то нашу ленинградскую группу называли Ижорской. Вероятно, по месту дислокации нашего приюта на территории Ижорского завода. А потом мы узнали себя по другим качествам, по «национальным». Нам это было не очень непонятно, хотя мы все считали себя русскими, говорили все по-русски и другого языка знать не могли. Так мы узнали, что в нашей группе русских только Шурик Катков и Коля Горячев. Маленький росточком Миша Кулагин оказался ижором, а белокурый Эдик Линд – ингерманландским финном, все остальные – условные евреи (полукровки), кроме единственной девочки Полины Розенцвейг. Она, говорили, была типичная... У Полины после ледового перехода через Ладогу были ампутированы отмороженные пальцы правой ноги. Старше нас на два года, она, единственная девочка, была нами признанным авторитетом. Ее очень жалели и воспитатели. Умная, не по годам развитая, она умела находить общий язык с деревенскими ребятами, со сверстниками из других групп. Воспитатели признавали ее своей помощницей, а нянечки в ночное дежурство даже брали ее спать к себе, чтобы в борьбе со сном поболтать на разные темы.

Мы любили Полину за ее непохожесть на нас. Все-таки это была девочка. Она сумела внушить нам веру в себя, в свое человеческое достоинство, не смотря на многие физические недостатки, ущербность. Но больше всего мы любили ее за то, что она могла все выведать, разведать и тихо передать нам. Когда мы узнали, что есть разные народы и что мы тоже принадлежим к разным народам, то нашему безразличию к жизни пришел конец. Вспыхнувшее в нас вопросительное отношение к жизни разных народов можно бы назвать извержением вулкана. Мы ночами долго не могли уснуть, распаляясь в спорах, сначала о том, откуда берутся дети, потом о том, как их разделяют по разным национальностям. Полина здесь была умнее всех. Она, оказывается, давно знала, где люди берут детей, но помалкивала. Теперь она всех нас успокоила, заявив о том, что если Сталин наш отец, то значит он сам тоже и русский, и еврей, и ингерманландский финн. Мы засыпали, а Полина уходила к ночной нянечке «бабушке Домне» и, укладываясь вместе с ней, не давала ей спать. «Тебе спать не положено», – говорила она ей, задавая свои вопросы, в том числе и про евреев.

– Так вот... – говорила она после бесед с Домной. – Евреи убили Иисуса Христа. Это было давно. Но мы должны замалчивать этот грех. А наши родители убили Кирова, хотели убить Сталина, но за их грех будем расплачиваться мы, их дети. Еще она мне сказала, что теперь Бога нет, и всех попов порасстреляли рабочие. Так что Сталин нам вовсе не отец. Будет он всякое говно делать!

Это нас потрясло. Мы стали понимать, что наша жизнь может оказаться в руках любого человека, который может потребовать от нас ответственности за поведение наших родителей. Частые отрицательные эмоции вызывали не только головную боль и раздражение, боль во всем теле, особенно в ногах и в пояснице. Наше поведение постоянно было адекватно настроению, поэтому няни и воспитатели за глаза называли нас «психами ненормальными». К тому же мы очень сильно сквернословили. Мат наш, соленый и злой, исполнялся не по-детски смачно, по-русски. Сквернословие было одной из типичных особенностей нашей субкультуры. Это, конечно, антропологический фактор, но уж больно неудобный для воспроизведения в тексте. Я буду его или замалчивать, или прибегать к помощи языка Эзопа.

В начале весны 1945 года в деревню Степановку зачастили фронтовики, но... в соседний детдом, чтобы там забрать свое найденное чадо. Число воспитанников в том детдоме резко сократилось, и вскоре нас переселили с Барской горы, объединив всех в один коллектив. Однако нашу ленинградскую группу сохранили, хотя она очень сильно сократилась в связи со смертью четырех неисправимых дистрофиков.



На фото: Групповой снимок. Башкирия. Степановский дошкольный детский дом. Июнь 1942 года. Я (Владислав Скитневский) на руках у воспитательницы, второй справа. С перевязанным ухом – Вадик Антонов (ранение в голову), а близко к лицу этой же воспитательницы – Полина Розенцвейг, дочь ленинградского журналиста. На первом плане Юра Морозов и Коля Папанов. Здесь нас смешали с башкирскими ребятами из Дюртюлинского детдома.

День Победы, 9 мая 1945 года, мы запомнили на всю жизнь. Творилось невероятное. Мы не совсем понимали сути происходящего и потому могли только наблюдать за необычным поведением взрослых людей, ликование которых даже сегодня для меня не поддается разумной оценке. Наши воспитатели обнимались, тискали нас до хруста костей, плакали. Это состояния взрослых передалось и нам. Оно явно начинало выходить из-под контроля. Сначала мы испугались и начали реветь, думая, что взрослые сошли с ума. Такую чрезвычайную эмоциональную возбудимость людей мы никогда еще не наблюдали. К тому же мы, прожившие свои годы в изоляции от большого скопления людей, вдруг оказались в эпицентре толпы колхозников и наших воспитателей, ликующих по поводу, совершенно недоступному нам для понимания того, чтобы вести себя так, как вели себя они. Они про нас просто забыли. В нашем присутствии они перестали распознавать индивидуальные различия, перестали стесняться того, что они говорят и что делают. Все они превратились в какую-то однородную кипящую массу, из которой исходили возгласы ликования, вопли, слезы радости, мат, сопровождающиеся подпрыгиванием, порой непристойными движениями и непрерывным обниманием каждого, попавшего под руку.

Я помню, как некоторые из нас забежали в палату и залезли кто под нары, кто под длинный стол, за которым нас кормили. А за распахнутым окном люди разбирали оставшиеся после Первомайского праздника красные полотнища лозунгов, обворачивались ими и шли по улице, заходя в каждый крестьянский дом. Все это продолжалось до самого вечера. Нас никто не кормил. И мы вместе с другими детьми пошли по домам. Нас люди затаскивали к себе избу и усаживали за стол, на котором была всякая еда. Почему-то всем захотелось нас накормить. Я заметил, как в мою миску все стали складывать то картошку, то капусту, кто соленые огурцы. Какой-то одорукий мужчина плакал, обнимая меня единственной рукой, в которой держал граненый стакан с водкой. Целуя меня в затылок, он совал мне в рот граненый стакан, разливая на меня вонючую жидкость, которую я успел уже несколько раз проглотить. В палату меня принесла воспитательница уже сонного.

А в середине ночи полыхнул пожар. Ворованный на соседнем крекинг-заводе керосин вспыхнул сразу в нескольких крестьянских домах. Горела половина деревни. Нас вывели всех на улицу. Зарево пожара было столь огромно, что казалось, будто горит само небо. Две пожарные машины, прибывшие с завода, ничего не могли поделать. В некоторых избах заживо сгорели люди. Наш дом лишился части крыши и кабинета директора со всеми документами.

С этого великого дня и с этой трагической ночи наша жизнь резко изменилась. Мне и еще троим объявили, что мы едем в Ташкент, где нас передадут родителям. Все было так неожиданно, что мы даже не могли адекватно отреагировать на такую лавину свалившейся на нас информации.

Утром нас отвезли в Уфу в РОНО, где каждому выдали конверты с документами для передачи сопровождающему. Вокзал в Уфе был под горой и наш трамвай медленно, на тормозах, спускался с горы, как бы предлагая нам почувствовать начало дальнего путешествия.

Нас привели в комнату милиции. Молодая женщина в военной форме с медалью на груди ожидала нас. Это была сержант Галия Ахметшина. Лицо ее было рябое, строгое и не предвещало ничего хорошего. Черные волосы, черный берет с красной звездочкой как бы слились в единый портрет, какой во время войны можно было видеть на плакатах с призывом стать Ворошиловским стрелком.

Сержант взяла наши конверты, заставляя сделать шаг вперед каждого, чьи документы уже просмотрела и говорила:

– Беру... Поедешь со мной...

А вот Полину брать не захотела.

– Калека... Тебе туда нельзя, – сказала она.

– Сама ты калека... Рябая... – И Полина сделала шаг вперед.

Наступила гнетущая тишина. В ту же минуту Полина от удара сержанта свалилась на пол и задергалась в судорогах. С ней и раньше это случалось, но только не в такой ситуации. Не сговариваясь, мы все трое упали на Полину сверху и закрыли ее собой. Галия выскочила из кабинета, а воспитательница стала приводить в чувство Полину. Нас всех колотила мелкая дрожь. Пришел человек в штатском и повел нас всех на перрон. Идя вдоль состава, наполненного пассажирами, он подвел нас к вагону, у которого с чемоданом стояла наша боевая Галия Ахметшина. Он громко сказал ей:

– Чтоб больше даже пальцем никого... Поняла?

– Так вражьи дети, товарищ майор...

– Заткнись, дура... Заводи детей в вагон!

Галия первая помогла Полине подняться по ступенькам и сама прошла за ней в вагон. Человек в штатском помог подняться и нам. Вагон был забит битком. Теснота невероятная. Вонь, духота. Люди ссорились из-за мест. У нас на всех было два боковых места. Не помню, как выдержали эту ночь. Рано утром сержант Галия выводила нас на станции Кинель. Это была большая станция. Повсюду на земле спали и сидели люди. Мы долго шли по шпалам к другому поезду, который состоял наполовину из пассажирских, наполовину из товарных вагонов. Подошли к вагону, на котором мелом было написано «Начальник поезда». У входа стояла толпа людей. Галия, растолкав всех, с чемоданом поднялась в вагон, сказав нам:

– Никуда без меня! Полина, ты старшая.

Ждали мы ее очень долго. Ругали ее по-всякому. Хотелось есть.

– Вот они, мои красавцы, – услышали мы ее голос сверху. – Заждались меня? – и Галия громко захохотала. Она вела себя очень странно. Мужчина в железнодорожной форме азиатской наружности придерживал ее под руку, чтоб она не свалилась с подножки.

– Подымайтесь, дорогие мои жидята... – И она снова весело расхохоталась.

Мы стояли возле купе начальника поезда, а он подозрительно разглядывал нас и приговаривал: «Жаксы, жаксы. Будем искать вам место. Жаксы». Галия, с медалью на груди, щебетала:

– Золотые вы мои! Я же вас еще и не покормила со вчерашнего дня. Они у меня терпеливые, не зря в следственном изоляторе родились. Наши люди! Сейчас мы пойдем в другой вагон и там закусим, и еще раз выпьем.

– А почему еще раз? – вдруг спросила ее Полина. – А где же первый?

Но Галия перебила ее:

– Молчать...

– А-а, я все понял, – сказал начальник. – В нашем поезде №500 есть вагон-изолятор. Веди их туда, а я позже подойду.

Галия первой спустилась с чемоданом и ... вместе с ним рухнула на землю. Люди стали ее поднимать и трясти. А кто-то рядом произнес: «Нажралась... сука. Медаль нацепила...» Наконец, мы подошли к товарному вагону с надписью мелом «Вагон-изолятор». Это было наше последнее пристанище. Забравшись на нары, покрытые брезентом, мы все улеглись и тотчас уснули. А ночью кто-то залез в наш вагон-изолятор с фонариком. Галия сказала ему что-то не по-русски, и человек забрался к ней на нары, приговаривая что-то на своем языке. Стучали колеса, покачивался из стороны в сторону наш вагон, и только утром Полина шепотом сказала нам.

– Ночью они делали детей...

Мы это и без нее поняли, только боялись шелохнуться. Кто ее знает, чтобы они могли с нами сделать.

Нас почему-то больше ничто не удивляло. Даже есть не хотелось. Нам постоянно хотелось спать. Спали вповалку. Фонарь «летучая мышь» отбрасывал на противоположную стену наши тени, как холмики. Полина подняла зажатую в кулак руку над своей тенью:

– Это моя могилка...

– А это моя, – сказал я, подняв свою руку.

– А я не хочу умирать, – произнес Эдик Линд и не поднял руки.

– А я хочу. Я тоже с вами. – И Миша Кулагин поднял свою тоненькую ручку. – Я уже заболел.

Мне так холодно и сильно трясет...

Мы ехали в Ташкент, в город хлебный. Поезд шел медленно, с частыми остановками. На какой-то станции к нам в вагон привели больного мужчину и положили на нижние нары. Галия сказала нам:

– Сидите там наверху и не прикасайтесь к нему. У него «сыпняк».

Утром потому сняли свои рубахи и, как всегда, начали ловить вшей. Галия исчезла, оставив нам круг колбасы и буханку хлеба. Поздно ночью она с трудом влезла в вагон. Кто-то ее подсаживал и грязно матерился. Из чемодана Галия вытащила мужские нательные рубахи с тесемками на вороте. Всю нашу швину одежду она отняла у нас и выбросила из вагона. Мы переоделись в белые рубахи и стали как привидения. Длинные солдатские рубахи были нам почти до пят.

– Теперь без штанов вы от меня никуда не убежите. Все, как положено в нашем заведении. А ты, Поляночка, переходи ко мне на эту сторону. Это будет наша женская половина. Мы с тобой будем спать здесь.

Галия достала из чемодана простынь и постелила ее поперек. Но Полина ответила ей:

– Зря стараешься. Мы привыкли спать все вместе. Ты спи со своим азиатом...

Какой-то комок, завернутый в газету, залепил Полине рот. Из кулька выпали куски копченой рыбы.

– Это тебе закуска, морда твоя жидовская...

Наступила тишина, которую никто нарушать не стал. В ту же ночь в вагон привели еще одного больного мужчину. Галия велела ему оставаться на нижних нарах и не лезть наверх. Больные мужчины бредили и просили пить, но мы к ним не подходили. На какой-то станции Галия побежала к начальнику поезда. Мужчин из вагона вынесли. Они умерли.

В этот же день Галия заболела. Вечером она сказала нам, что на самом деле мы едем не в Ташкент, а только до станции Арысь, где нас должен встретить работник НКВД, который отвезет нас дальше в Акмолинск к нашим «мамням». Оказывается, по закону наш возраст уже позволял быть рядом с родителями в местах их заключения. И тогда Полина спросила ее:

– А ты уверена, что мы доберемся до этой Арыси?

– А других вопросов у тебя нет?

– Есть еще один... Вот у тебя медаль – «За боевые заслуги»...

И вдруг Галина как-то странно захихикала, налила в стакан водку, велела перебросить ей кусочек колбасы и задумчиво ответила.

– За боевые... половые... – И осушив стакан, крикнула и улеглась, отвернувшись от нас.

Мы долго осмысливали ее ответ, ничего не понимая. И только Полина, посмотрев на нас презрительно, покрутила пальцем у виска.

– Полы мыла на фронте.

Никто из нас не мог знать, что Галия умрет от тифа, и ее снимут с поезда в Актюбинске вместе с нашим Мишей Кулагиным. А потом снимут Эдика Линда. А я с Полиной умру на станции Тимур, немного не доехав до станции Арысь.

Нас вынесут из вагона рано утром и положат у входа в вокзал, завернутых в одеяла.

Для погребения.

г. Кингисепп

Фото – из личного архива В. Скитневского

**САГА
о деформированном детстве
(часть вторая)**

Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, будто я наблюдаю за движением времени, которое быстро плывет и несет меня за собой в прошлое. Не случайно говорят – «бег времени». Не успел опомниться, а уж и старость сделала мои глаза поблекшими, только вот память, хоть и тускнеет, но, слава Богу, не исчезает. Просто она смешалась с моим терпением, заставляя никого и ничего не забывать из моего детства.

Мне всегда казалось, что я родился взрослым, поскольку буквально «прошмыгнул» во взрослую жизнь с черного хода. Теперь я понимаю, что если государство захочет, оно может ускорить процесс прохождения не только младенческого или детского возраста, но и пренатального периода развития человека. На примере моей жизни я сам в этом убедился.

В то раннее и жаркое не по времени года утро в моей голове гнездились мысли, которые и сейчас я не могу прогнать прочь. Тогда я шел по теплым и грязным от мазута шпалам, удивляясь тому, что дорога на тот свет выложена такими же рельсами, как и на станции Кинель. Кроме длинной, почти до пят, белой рубахи на мне ничего не было, и потому идти было легко, только очень кружилась голова, и казалось, что вокруг меня – море красных цветов, которые, по моему тогдашнему пониманию, могли расти только на «том свете».

Позади меня что-то протяжно загудело, и я оглянулся назад. На меня шел паровоз с двумя пышными усами по бокам. Я испугался, метнулся в сторону и тут же покатился вниз по острым камням, которые впивались мне в тело.

– Мать твою... Атааналар кайда? (где твои родители?)

И паровоз без вагонов застучал по рельсам дальше. А я сидел на земле, повторяя сквозь слезы до боли знакомый мне мат, скатившийся на меня сверху. «Здесь тоже матерятся», – думал я, оглядывая место, на котором я сидел и ревел. Мои кувырки с насыпи окончательно вернули меня в то состояние, в котором я пробыл, видимо, не один день. Перед глазами все плыло, казалось, я тоже плыву по волнам. Вокруг меня на высоких ножках росли красные и желтые цветы, какие мы рисовали в детдоме. Я не мог оторвать от них глаз. Это было невероятно красиво и даже как-то неправдоподобно, как в сказках.

Я поднялся и постоял. «Как в сказке», – подумал я и сделал несколько шагов к большому желтому цветку, похожему на стаканчик. Я хотел его сорвать, уже успел прикоснуться к нему, как вдруг увидел рядом... «скатерть-самобранку», на которой лежали две рыбные головы, куски хлеба, яичная скорлупа и красивая жестяная баночка с надписью «Шпроты», на которой сидели мухи-цокотухи и приглашали меня к чаю. Я присел на корточки и схватил кусок хлеба. Мухи улетели, а я расправил измятую «скатерть» с надписью «Казахстанская правда».

Я быстро поедал хлеб. Голова закружилась сильнее, но все равно я вцепился зубами в рыбью голову, которая сочилась вкусным соленым соком. Видимо, силы стали покидать меня. Мне показалось, что где-то рядом шумят потоки воды. А мне очень хотелось пить. Где-то рядом бушевала вода. Этот шум не давал покоя. Я поднялся и пошел на него. Идти босиком по земле было невыносимо трудно. В ноги что-то постоянно впивалось. Но то, что мне пришлось вдруг увидеть, снова свалило меня с ног...

Я сидел на берегу реки, а совсем рядом возвышался большой железный мост. Вода не текла, а неслась. Она была грязно-коричневого цвета, и по ней плыли разные разности: большие кусты, мусор, даже дохлая собака. Я подошел поближе к мосту. Наверху, у самого начала моста, было написано «р. Арысь». Это слово уже было мне откуда-то знакомо.

И я вспомнил наш вагон-изолятор. Сержант Галия говорила, что нас встретят, не доезжая Ташкента, на станции Арысь. Полина еще спросила: «Доедем ли мы все до этой Арыси?». Надо же! А я-то думал, что я уже на «том свете». Я сидел у самой воды и смотрел, как близко ко мне волна подкатывает маленькие красивые камушки. Я опустил ноги в мокрый песок, и вода облила мои пятки. Хотелось пить. И тогда я увидел рядом ямку с чистой водой. Я подполз к ней и потянулся губами к воде... На меня смотрела... моя мама, которую я никогда не видел, но которую я сразу узнал.

– Поцелуй меня, сыночек мой... – сказала она. – Иди ко мне, я обниму тебя, радость моя...

Я отшатнулся и упал лицом в песок... Потом поднял голову и осмотрелся. Никого не было...

Очень хотелось пить. Я снова наклонился над лужей воды и напился.

– Сынок! – услышал я уже из самой реки. – Иди ко мне. Где же ты так долго был, мой родной?

– А где т-т-ты была? – вдруг закричал я и снова посмотрел в ямку с водой, чтоб показать маме язык. Она смотрела на меня и тоже показывала мне язык. Я снова отшатнулся, и мир вокруг меня пошел кругом.

Я проснулся от того, что кто-то целовал меня в щеку и в лоб, обдавая мое лицо жарким учащенным дыханием... Я открыл глаза...

Только позже я смог восстановить то, что осталось за пределами моего беспомыслия. Тогда я просто не отдавал себе в этом отчета, поскольку мое «я» еще не могло расшириться до границ понимания ни моего состояния, ни поведения, да и отношения к сложившейся ситуации.

Конечно, я видел в ямке с водой свое собственное лицо, свою голову с кудрявыми локонами волос. А целовала меня страшная морда с открытым клыкастым ртом. Помню хорошо. Я ее... крепко обматерил и прижал к себе остатки еды, завернутые в «Казахстанскую правду». Однако морда продолжала меня лизать и лаять... Но сил сопротивляться уже не было.

Все эти воспоминания теперь уже трансформировались в хорошие и нехорошие образы. Более того, происходившее со мной в те дни было уже сто раз пересказано другими участниками этих событий, много раз прокомментировано, и теперь память моя обогатилась еще и памятью других людей. Это позволило мне составить из маленьких фрагментов более полную картину, ставшую теперь ярче и осмысленнее. Ставшую вполне готовой для включения ее в сюжет будущей книги.

В тот же день, здесь же, на месте слияния реки Арысь и Сыр-Дарьи, я проснулся на коленях молодой женщины. Она сидела на земле, прижимая меня к груди, туго затянутой теплым платком. Ее руки ощупывали меня под моей грязной рубахой. Затем женщина взяла меня за волосы и повернула мою голову близко к своему лицу.

– Господи! Вши...

Я закрыл глаза, чтоб не видеть ее. Но женщина сильно встряхнула меня.

– Нет! Нет! Не умирай...

Она отстегнула булавку на узле платка и, сдернув его с себя, осталась в одной рубашке, совершенно мокрой на груди. Она снова повернула мою голову к себе и, сдавив грудь, брызнула мне в лицо белой струей.

– Помоги мне сыночек... Помоги... И я тебе помогу... Я не отдам тебя... Еще, еще немного помоги мне. Тебе это полезно... О, Аллах! Они отняли у меня мою девочку. А я не отдам! Не отда-а-а-м!

И она закатилась сильнейшим приступом кашля, закрывая лицо лежащим рядом теплым платком...

Я видел перед собой ее худое смуглое лицо. Я смотрел на нее одним глазом. Другой мой глаз закрывала ее грудь, которую я терзал, ухватившись за нее двумя руками. Иногда женщина откидывала голову назад и тяжело дышала. И тогда я отпускал ее грудь, смуглую, с большим коричневым соском и таким же коричневым ободком вокруг него. Женщина брала в руку свою грудь и брызгала на мои глаза, на мои губы теплой белой жидкостью, которую я слизывал и глотал, ощущая нежное тепло в своем пересохшем пищеводе. То, что я делал тогда, я никогда в жизни не делал, никогда в жизни не ощущал. У меня это отняли. Лишили меня по какому-то неизвестному праву. Я во все глаза рассматривал лицо этой женщины. Таких лиц я еще никогда не видел.

В башкирской деревне, где мы росли, мы иногда видели, как женщины кормили грудью своих детишек. Тогда мы присаживались рядом и не могли оторвать глаз от этого зрелища, пока нам не говорили: «Ну, хватит! Сглазьте еще. Глазища-то повытарасили. Что вас мать – не кормила, что ли?» К великой нашей беде это было правдой. Не кормила. Никогда. Первый раз мы это видели. А теперь вот я, такой большой, лежу на руках и...

– Слава Аллаху! – сказала женщина, державшая меня на руках. – Глаза открыл. Господи!.. Откуда ты такой взялся в степи? А я сначала думала, что ты девочка. Вон кудри-то какие... Заглянула, а ты мальчик... Не с поезда ли?.. Кутаяк! Кутаяк!.. Не мешай нам... Не маши хвостом... Не подымай пыль... Пошел вон, Кутаяк... Уходи прочь...

Говорила она по-русски так хорошо, так ласково, что я сразу успокоился и снова схватился обеими руками за ее грудь. Рот наполнился теплым сладким молоком, которого я никогда еще не пробовал. А женщина еще что-то говорила про себя, то по-русски, то по-другому, и по щекам ее текли слезы.

– Кушай, золотце! Кушай... Изболелись мои груди... – И она запричитала на непонятном мне языке. Из ее разговора можно было понять, что ее молоко принадлежало ее ребеночку, девочке, которую у нее отняли и увезли в далекий аул к какой-то женщине, не имеющих своих детей. Причитания она сопровождала горьким плачем и словами, обращенными ко мне:

– Вот мне уже и легче стало. Слава Аллаху! Это Он послал тебя ко мне. Это я просила Его дать мне мальчика. Но он дал мне девочку, и муж-то мой как рассердился на меня, что не мальчик. Отнял ее у меня и отвез к своей старшей жене в Байеркум. А я вот нашла тебя. Это Кутаяк тебя нашел. Слышу, он лает как-то не так. Зову его. Но он не идет. Меня, значит, завет к себе... А ты кушай, кушай. Сейчас мы покажем тебя Зульпухару...

Услышанное тогда было для меня очень сложной для восприятия информацией. Я почти ничего не понимал из ее разговора со мной. Ясно было только одно – меня нашел этот огромный пес-волкодав по кличке Кутаяк. И еще я понял, что я не умер, как мои друзья Эдик и Полина. Я – живой. В тот период моего детства мне приходилось входить в контакт с людьми совершенно другого склада бытования, языка и культуры. Это были казахи, ведущие тогда еще полукочевой образ жизни. В те годы я вошел в новый для меня мир, будучи совершенно не подготовленным к бытованию в другой среде. Моя недавняя несвобода сменялась теперь другой несвободой. Ни территория, ни язык, ни культура этого народа не были мне знакомы за десять лет моей жизни. Родившись в Ленинграде, развиваясь дальше в башкирской деревне под Уфой, мы не имели представления о народах, живущих по соседству с Россией.

Знать все это нам было просто еще рано. Волею судьбы я погрузился в социальную среду, которая поглотила меня целиком, заставив некритически воспринимать незнакомые мне стереотипы мышления и поведения. Я вынужден был участвовать в жизни людей, с которыми не был связан ни родственными, ни официальными узами.

Итак, я оказался на территории Кызылкумского района Южно-Казахстанской области, недалеко от ст. Тимур и ст. Арысь. Аул находился далеко, в прибрежных тугаях в устье реки Арысь, впадающей здесь в безудержную и норовистую Сыр-Дарью. Здесь, в прибрежных зарослях, местные чабаны пасли скот высокопоставленных чиновников района и области, тучные отары которых достигали по сотне и более каракульских овец. Тогда я этого еще понимать не мог и потому только догадывался, почему мое появление в ауле было принято не так уж радостно и приветливо. Как бы мал я не был, а все-таки чужак. Неизвестно откуда взявшийся ребенок, тем более «орыс», был явно не к месту.

Однако Тота закатила по этому поводу большой скандал своему Зульпухару, который на самом деле был ей не мужем, но родным братом жениха Тоты, Нартая, репрессированного и расстрелянного в Ленинграде еще до начала войны, когда они вместе учились: Нартай в университете, а Тота в балетной школе на улице Зодчего Росси.

Обо всем этом я узнавал из уст своей покровительницы, прекрасно владевшей не только русским языком, но и знанием русской, а может, и всей европейской культуры. Только сейчас я осознаю то, что моя историческая память превратилась в некий источник идентификации с детством, в котором, вопреки законам антропологии, самого-то детства... не оказалось. Его у меня, как и у многих других, общество ампутировало, превратив нас в жертв неблагоприятных условий социализации. В тот период я был просто маленьким взрослым, а может, и маленьким старичком с ограниченными физическими возможностями бытования.

Однако процесс удовлетворения потребностей в моем организме, типичный для нормального детства, у меня был замещен активным процессом овладения смыслами окружающей действительности, не смотря на то, что овладения средствами мыслительной деятельности я официально еще нигде не проходил, т.к. нормальную школу еще не посещал. Вот почему этап моего психического развития, предшествующего взрослости, оставался вне контроля. Его просто некому было осуществлять. В этом, по-моему, главная сущность так называемого сиротства. Но это еще не самое основное в сиротстве. Главное в нем – страх, который постоянно угрожает как биологическому, так и социальному существованию ребенка. В этой связи все нервное средоточие сироты направлено на источник страха. Здесь речь не идет о страхе за стыд, тем более, за бесчестье или за нравственность. Эти категории этики еще не коснулись маленького сердчишка ребенка. Речь идет о животном страхе, исходящим из глубин осознания своей собственной незащитности и ничтожности.

Только сейчас можно ясно представить себе, что в те годы переживали не только дети-сироты, но и взрослые-сироты. Страху были тогда подвержены чуть ли не все люди. Я помню, как Тота, прятая меня в своей юрте, не пускала в нее ребяташек, пришедших на меня поглазеть.

И у нее были на это основания.

Однажды она сказала мне, что теперь всё обо мне узнала, и что я зря не называю себя.

Оказывается, в этот дальний маленький аул заглянул прокурор, чья отара овец укрывалась в прибрежных зарослях с помощью местных чабанов. Его приезд был неожиданным и потому собрал всех в юрту хромого Зульпухара, мужа трех жен, в том числе и Тоты, за глаза называвшей его «Аксак-кулан» (хромой осел). Неожиданно приехавший прокурор сообщил, что на станции Тимур произошло страшное дело. Ночью из вагона-изолятора поезда № 500 вынесли два детских трупа для погребения. Пришедшие работники обнаружили только один труп девочки, в одеяле которой лежала полевая сумка с документами на двоих детей. Второго трупа на месте не оказалось. Прокурор сказал, что машинисты видели девочку в белом платье, идущую по шпалам в сторону моста через реку Арысь. Они давали сигнал за сигналом, и девочка скатилась под откос. Возможно, сказал он, это была не девочка, а тот пропавший мальчик. И он назвал имя и фамилию мальчика и попросил Тоту познакомиться с его документами, чтобы понаблюдать за ссыльными чеченцами, живущими на другом берегу Сар-Дарьи.

Когда Тота говорила мне об этом, она вся дрожала и прижимала меня к груди, туго перевязанной шерстяным платком. Она плакала и причитала:

– Бедная моя девочка... Как ты там без меня? Кто тебя там кормит и греет? Кого теперь я буду кормить своим молоком? О, Зульпухар, Зульпухар, что же творишь со мной и с моим отцом! И нет на тебя никакой управы...

Стояла жаркая майская ночь. Тяжелое дыхание Кызылкумов уже не обжигало, но обволакивало уставших за день людей пеленой вялости и сонливости. Не могли угомониться только мириады цикад, заполнивших ночь своим многоголосым хором. В ту жаркую ночь Тота, собрав наспех какой-то узелок, быстро, почти бегом, уводила меня из аула. У самой реки мы остановились, и Тота, посадив меня под куст джингиля, велела мне сидеть и ждать ее.

Теперь я понимаю, что в те дни мое существование мало кого интересовало с точки зрения оказания мне хоть какой-то элементарной помощи. Для людей я просто был, как был этот огромный, на высоких ногах, пес Кутаяк. Я ничего собой не представлял вообще, поскольку не мог проявлять ни воли, ни желаний. Их просто у меня не было. Я до малейших подробностей помню все, о чем думал в те минуты, сидя глубокой ночью на берегу реки и слушая быстрое её течение. Я думал о том, что я не умер. Однако я не мог ни осознать самого себя, ни контролировать свои действия, ни чувствовать своего тела, биения жизни. Это было какое-то самозабвение, выходящее за пределы моих ощущений, восприятия, понимания происходящего. Мне очень хотелось подойти поближе к этой черной воде, которая несла свои волны не прямо, как обычно, а какими-то заворотами, превращающимися в огромные воронки. Я поднялся и осторожно подошел к краю крутого берега. До воды было не достать. И я просто стоял на краю и смотрел, как плещутся и водят свой хоровод волны.

Я помню, как из одной воронки неожиданно высунулись две руки, а потом голова и туловище женщины с длинными волосами, облепившими ее груди. Она стала руками отдирать от себя свои волосы и бросать их в мою сторону. Что-то залепило мне лицо, и я от страха свалился в песок. Потом еще несколько раз на меня попадали брызги. Меня колотила дрожь. Чей-то голос из воды ласково сказал мне: «Не бойся, сынок... Это я, твоя мама... А я все жду и жду, когда вас привезут, и я смогу увидеть тебя, мой родной... Решила сама за тобой прийти... Ну, иди ко мне скорее, а то не без тебя так плохо, так плохо...». И я посмотрел на свою маму. Быстро поднялся на ноги. Она обняла меня крепко, крепко. И мне стало тепло, я впал в забвение...

– Господи! Кутаяк... Золотой ты мой... Какой же ты молодец!.. Как же ты его нашел? Я же тебя сюда не звала. Давай-ка мы его отнесем, пока он спит. Иди, Кутаяк, вперед, только не лай. Успокойся. Нам нужна тишина.

Так я попал в жилище, которое Тота устроила для своего отца, беглого политзаключенного из «Карлага». Это жилище в виде пещеры у самого подножья кручи, на берегу Сыр-Дарьи, Зульпухар придумал сам. Ему надо было каким-то образом приютить своего тестя, в прошлом – известного профессора Алма-Атинского педагогического института, репрессированного в рамках повального уничтожения казахской интеллигенции. Сам Зульпухар вернулся с фронта без стопы правой ноги после долгого лечения в госпитале подмосковного Ногинска, из которого многие казахи-панфиловцы вернулись домой калеками. Отец Зульпухара, старейшина рода, многие годы вел нехитрое скотоводческое хозяйство расчетливо, умело, за что снискал уважение народа и зависть соседей, назвавших его в доносе «феодално-байским элементом». Его арест, по принципу домино, коснулся сразу двух его сыновей: младшего – ленинградского студента, и старшего –

директора школы в Чимкенте. Зулпухара же отправили на фронт, несмотря на его болезнь, называемую в народе «падучей». В школу его не пустили из-за частых припадков. А вот на фронте он подбил два вражеских танка, получив за это орден «Красной звезды» и тяжелейшее ранение обеих ног.

Родной аул, некогда зажиточный, благодаря авторитету их рода «кульчугаш», встретил его душераздирающим плачем женщин, проклинавших войну и свою несчастную долю. Вырвавшись из их объятий, он, тяжело хромя, пошел в свою кибитку. Мать Зулпухара ослепла. Прижав к губам его пропахшую табаком руку, она пыталась дотянуться до его лица, но рука бессильно падала и тряслась мелкой дрожью.

Все это мне рассказывала сначала Тота, а потом и другие женщины, убедившись в моем таланте быстро усваивать казахскую речь. По мере моего вхождения в мир взрослых людей – сильных, мудрых, обладающих разными характерами, я постоянно размышлял о них. Я сравнивал их с людьми, среди которых я рос в Ленинграде и в Уфе. И я поверил, что я не умер, что я еще живу. Мне пришло это в голову сразу же после того, как я заметил, что меня все чаще называют «улым» (сынком). Я и сегодня помню многие черты характера тех людей, которые окружали меня в детстве. Я хорошо помню ту среду, в которой формировалось мое миропонимание. Да я и не забывал никогда и сейчас в этом убежден, что именно эти люди причастны к моему воскрешению из небытия, в котором я был обречен оказаться. И я обязан простить им все то большое, что было ими порой мне причинено не по злой воле, а по сложившимся обстоятельствам, связанным с моей причастностью к такому слою общества, к каким обычно относится сирота.

Я проснулся от разговора на русском языке. Говорили явно обо мне.

– Отвези, дочка, его немедленно в Арысь. Там в детдоме директором работает мой хороший друг – Фома Иосифович Рахштейн.

– Папа, но это же женский детдом.

– Какая разница, они там сами разберутся. Отведи сегодня же.

Возьми у Зулпухара коня и отвези пацана. Его же ищет прокуратура.

– Тебя, папа, тоже ищет прокуратура...

– Тота, перестань... Отвези немедленно... Ему нельзя здесь быть...

– У меня Зулпухар отнял дочь. Отвез ее к своей старой кляче. А этот мальчик будет моим. Это я его нашла. Правда, Кутаяк? Это мы с тобой его нашли. Он будет наш. И Тота, согнувшись, вошла в пещеру, в которой жил этот старик и вот теперь сюда привели меня. Я лежал на деревянном топчане, завернутый в большой тулуп, сильно воняющий чем-то кислым. Тота нагнулась надо мной и прошептала:

– Ты здесь немного поживешь с моим папой. Он очень интересный человек. Он доцент. Он в этих краях исследовал раскопки древнего городища Отрар. А я побегу в аул. Принесу вам еды.

И ушла... А я остался один в темноте пещеры и слышал, как надрывно кашлял старик. Как он произносил по несколько раз какие-то странные слова:

– Бисмилля... Ирахман...

С этого дня моя жизнь, если судить о ней с высоты прошедших лет, стала напоминать самый настоящий кинофильм о приключениях мальчика, ставшего не по возрасту мужчиной. Чтобы его пересказать, потребуются многие страницы журнала, и потому я лишь набросаю абрис тех давних событий.

Несколько дней Тота держала меня у своего отца, беглого политзаключенного, привезенного из «Карлага» с помощью того же прокурора, стадо овец которого пас Зулпухар.

Но вот однажды Тота повела меня купаться в то место, где река Арысь впадает в Сыр-Дарью. Она мыла меня кусочком мыла, который берегла для своей дочки. Сама Тота купалась в длинном малиновом платье. Далеко в реку она не заходила, а меня держала за руки. Потом она выбежала на берег и стала делать какие-то странные прыжки, как будто хотела взлететь в небо. Одновременно она напевала какую-то мелодию. И вдруг... исчезла совсем. Я очень испугался и закричал. Но Тота просто забежала в пещеру и появилась оттуда, неся в руках какой-то чемодан. Она поставила его на песок. Открыла крышку. Достала какую-то железную ручку, вставила в чемодан и завела его. Оттуда вдруг закричало, зашипело, а Тота отошла подальше и встала, гордо подняв голову, подняв одну руку вверх, а другой задрал подол мокрого платья до живота. Из чемодана полилась красивая музыка. И Тота, крикнув мне, «Адажио!», стала танцевать: делая то плавные движения, то неожиданно прыгая, выдвинув одну ногу вперед, а правую, руку подняв над головой. Потом Тота сбросила с себя мокрое платье и, швырнув его в мою сторону, снова крикнула «Адажио!»

Прошел почти год моей жизни в ауле Зульпухара. Зимой, когда в аул редко кто приезжает, мы с отцом Тоты жили в доме ослепшей матери Зульпухара. Тота целыми днями была с нами, ухаживая за старыми и за малым. Я имею в виду себя. Приходили и соседи, чтобы помочь чем-нибудь по хозяйству. Но чаще всего, приходили для того, чтобы поговорить со стариком-доцентом, много знавшим об истории древнего Отрара. Сам того не замечая, я стал понимать казахскую речь, однако озвучивать новые слова при посторонних еще не решался. И тогда отец Тоты, которого звали Байтанай, становился посредником между мной и слепой старушкой. Она спрашивала у Байтаная про меня, а он выпытывал у меня нужное и переводил ей. В ответ она только вздыхала и приговаривала:

– О, байгус! О, бишара.(О, несчастный! О, бедняга)

Зима прошла для меня незаметно. Все говорили, что я подросток и меня пора сделать настоящим мусульманским мужчиной. Поговаривали даже о проведении обряда «сундет-той». Однако ранняя весна изменила все планы. Чабаны стали готовиться к откочевке на джайлау, начались сборы, какая-то суэта. Про меня все забыли. Люди были заняты подготовкой на летние пастбища.

Однажды, рано утром, когда я еще спал, прибежала Тота и, схватив меня на руки, вынесла из кибитки. Я увидел недалеко два огромных костра, их пламя было так высоко, что искры доставали, чуть ли, не до неба. А между этими кострами шли люди и гнали перед собой овец, коров, лошадей. И странное дело: все шли молча, опустив головы, никто ничего не говорил.

Только блеяли овцы, и мычали коровы. Тота поставила меня на ноги и сказала:

– Не бойся... Идем вместе со всеми... Начинается весна, Наурыз. Сейчас мы с тобой пройдем через огонь, и это очистительное пламя сделает нас с тобой, этих людей, эту живность чистыми, освободит от всякой скверны и заразы.

– Как в санобработке? – спросил я ее. – Тота захохотала. Но кто-то цыкнул на нее, и мы побежали к огню, чтоб очиститься от наших прошлогодних грехов.

Вероятно, разные люди наделены различной способностью хранить в своей памяти представления о прошлом и эмоции, их сопровождавшие. В тот период жизни моя психика еще была не способна понимать окружающее и образовывать правильные представления. Тогда для меня все это было только ощущением собственного бессилия перед чередой самых неожиданных обстоятельств жизни. Кроме Тоты, рядом со мной не было хотя бы подобия родителей или пусть даже пятиюродных родственников, которые бы могли благотворно повлиять на построение моих образов, представлений, восприятия мира. В этом и есть трагедия ребенка-сироты.

А уже через месяц Тота верхом на лошади привезла меня на станцию Арысь. Мы ехали с ней по улочкам небольшого города с маленькими глиняными домиками. На самой его окраине она остановила лошадь, прыгнула и осторожно сняла меня. Прижав меня к своей груди, она разревелась.

– Прости меня, мой милый ленинградский дружок. Я буду к тебе приезжать. Я буду тебе привозить курт, а то здесь очень плохо кормят...

– Здравствуй, Тота, – раздался чей-то мужской хриплый голос. Перед нами стоял пожилой мужчина и грыз семечки.

– Здравствуйте, Фома Иосифович! Вам папа написал письмо. Вы получили? А это мальчик из Ленинграда. Он сначала умер в дороге от тифа. А потом... А потом вот... Воскрес... Наш Кутаяк его нашел на берегу Арыси.

– Ну и ладно... – ответил мужчина и поцеловал Тоту в лоб.

Тота еще раз обняла меня и, заплакав, поцеловала пожилого мужчину.

– Поезжай, Толкынай. Кланяйся от меня отцу. Все обойдется....

В маленькой клетушке директора детдома меня раздели и осмотрели. Женщина в белом халате, простукав и прослушав меня, вздыхала, о чем-то перешептывалась с директором и, наконец, заглянув в мои кудри, отшатнулась.

– Господи! Сплошные гниды... Он что, в пещере жил? Обстричь-то волосы, наверное, можно было? Господи, прости меня... Марзия, берите ножницы... Под бритву его... Фома Иосифович... Что будем делать? Рахит у него ужасающий... Косточки мягкие, мышцы совсем ослаблены. Лежать, лежать... И рыбьего жира ему. Найдите еще курдючного жира.

Я лежал в чистой постели. Ко мне подбегали наголо подстриженные девчонки и что-то лопотали на своем языке. Все они были одеты в платья из прочной серой ткани. На другой день мне принесли такое же платье. Нянечка Марзия разрешила подол платья спереди и сзади и, присев на мою кровать, стала что-то зашивать.

Подошел директор и сказал:

– Ты ему для петушка место оставь...

– Оставлю, агай, оставлю...

Она встряхнула мою новую одежду и показала мне:

– Вот твой мужской костюм. Надевать будешь через голову. В туалет бегай в месте с девочками в овраг, в Кабулсай. Ты у нас теперь девочка. Тебя зовут Жетим-кызы... Поняла?

Она засмеялась. Откинула с меня одеяло. Посмотрела на мое изможденное тело и покачала головой. А потом вдруг дотронулась до моего потаенного места, потрепала его со словами «Насыбай, насыбай...» и, поднеся согнутые в шепотку пальцы к своему носу, громко чихнула.

Потом я узнал, что это у казахов такой обычай. Насыбай – это табак, который раньше закладывали под губу, после чего плевались и чихали. Это слово ассоциируется с мужской принадлежностью младенца.

Вот так. Прикасались к одному, а чихали от другого.

А уже через неделю я бегал вместе с девочками. Некоторые из них могли говорить по-русски. Они спрашивали, как меня зовут и откуда я появился. Я отвечал, что меня зовут «Же-же-же-тим-к-к-кызы» и девчонки весело хохотали, убегая от меня, показывая мне язык и выкрикивая: «Кекеш! Кекеш!» (Заика! Заика!)

Еще один год прожил я в Арысском женском детском доме, приютившем меня и сохранившем мне здоровье. Я с благодарностью сегодня вспоминаю всех, кто был в те дни со мной рядом. Возможно, что своеобразие моей индивидуальности сформировалось не столько в доставшейся мне генетической неповторимости, сколько в уникальности моего жизненного опыта в детский период. Хочется вспомнить все, что смогла запечатлеть моя память в детстве: людей с их лицами и речами, которые промелькнули и утонули в прошлом, не оставив ничего, кроме крошечных, почти ничтожных следов в памяти.

Шел 1947 год. По сигналу, который давала сторожиха кочергой по подвешенному рельсу, мы, как всегда, бежали в овраг по естественной надобности. К тому времени девчонки уже не пускали меня с собой, и я справлял малую нужду отдельно, с обрыва оврага. В одно такое утро, в самый момент процесса кто-то за моей спиной произнес:

– Лучше нет красоты, чем поссать с высоты...

Я оглянулся и чуть не свалился с обрыва. Позади меня стоял огромный старик с широченными плечами, огромной головой с одним ухом и весело хохотал.

– Не бойся меня... Я все про тебя знаю... Твой Фома мне все рассказал. А ты вот подвел его.

Выдал себя в девичьем царстве. Но ничего... У нас, у казахов, табун кобылиц не держат без жеребца. Фома, хоть и не казах, но взял тебя в свой табун. И правильно сделал.

И он, взяв меня за руку, привел в маленькую комнату директора, где всегда пахло лекарствами, а теперь разной вкусной снедью, которая лежала на столе.

– Фома, – сказал страшный человек директору. – А ведь я его сразу узнал. По одной небольшой детали. Это Толкынай мне подсказала. Ну-ка, найди ему нормальные штаны.

Директор улыбнулся и только кидал в рот подсолнечные семечки. Подморгнув, он шепнул мне, что сегодня идет обмен денег. Старые деньги обменивают на новые. Но вот беда, считать деньги в банке людей не хватает.

– Деньги меняют всего за два дня. А сегодня последний день. И народу в очереди не убавляется. А мой хороший друг, известный в мире борец Хаджимукан Мунайтпасов, имеет много денег. И мешок его стоит в банке, а считать некому. Но все-таки разрешили это сделать тебе, как воспитаннику нашего женского детдома. Сказали, ладно, приведите девочку, умную.

– А до ста ты можешь считать? – спросил Хаджимукан.

– Могу, до ты-ты-ты-щи...

Хаджимукан молча опустил голову. Я думал, что он заснул. Но он вдруг взял меня за шиворот и пересадил к себе на ногу. Я от страха съезился, но тут все только засмеялись.

– Назначаю тебя моим представителем в банке...

Вскоре я уже сидел на полу в какой-то комнатке, заваленной деньгами. Это был Арысский банк. Женщина по имени Нина Ивановна Бам показала мне, как надо отсчитать сто одинаковых купюр, как сложить их аккуратно в пачку и затянуть ее резинкой. Деньги лежали на полу огромной кучей. Я испугался, что не смогу все это пересчитать, новоявленная в комнату девочка моего возраста сказала, что поможет мне.

Я пересчитывал красные тридцатки с портретом Ленина. Их в мешке было больше других. И вскоре мы с девочкой Галей пересчитали все деньги и связали их в пачки. Пришедшая Нина

Ивановна сказала, что мы молодцы, помогли народному герою, который во время войны купил для Красной Армии три боевых самолета.

Меня вывели из банка и отвели через дорогу на базарную площадь. Пробравшись в середину толпы, я увидел лежавшего на животе Хаджимукана, на спину которого люди укладывали настил из досок. Рядом стояла грузовая машина, готовая проехать через богатыря. Я протиснулся между ног какого-то мужчины и оказался у самой его головы. Помню, как я опустил в самую пыль, лег на живот и подполз к его единственному уху:

– Дяденька, иди з-з-з-а-а-бери свои деньги. Я уже все их пересчитал.

Он поднял свою огромную голову, и вдруг все доски с него посыпались. Он встал во весь свой богатырский рост и сказал:

– Люди! Объявляю антракт. Мы с моим представителем пройдемся в банк.

Он взял меня за руку, и мы шли с ним по базарной площади к банку. И народ у входа расступился перед нами. Люди тянули к нему руки, чтобы поздороваться с ним. Этот страшный на вид человек, с оторванным правым ухом, с большим животом, шел и говорил:

– О, бисмилля! О, создатель! Какие хорошие дети растут. Как быстро они считают деньги... Идем, идем со мной, не бойся. Ты сейчас поедешь со мной ко мне в гости... О, бисмилля...

Потом к нам подвели большую серую лошадь, тянувшую за собой телегу-арбу. А в телеге сидела... Тота. Она держала в руках вожжи и весело улыбалась. Спрыгнув с арбы, она подбежала к Хаджимукану, обняла его за шею.

– Я же говорила вам, агай, что это хороший мальчик. Он не только считать, но и читать книжки хорошо может.

И мы ехали с ним и с Тотой на арбе, которую тянула старая, как и сам Хаджимукан, серая в яблоках кобыла.

Мы ехали в аул Тамерлан.



На снимке: Хаджимукан Мунайтпасов с молодой женой Минаим и сыном Айдаром. 1947 г. Год моей встречи с ним в Арыси и у него в ауле. Через год он умрет.

В этом же году, осенью, к нам в детский дом пришел уполномоченный МГБ и, пригласив меня в комнату директора детского дома, показал бумагу, в которой было написано, что моя мать обратилась лично к Л.П. Берия с просьбой найти ее сына. Просьба эта выполнялась долго. Больше года. И теперь меня надо было отправить к матери, так как мне скоро должно было исполниться 12 лет. Этот же человек сказал, что есть еще мальчик и девочка, которых он ждет из Ташкентского детского дома. А уже в августе 1947 года мы все четверо ехали в купе пассажирского поезда Ташкент-Новосибирск. Ехали, как порядочные люди, но под неусыпным присмотром нашего сопровождающего Бориса Петровича Елистратова. Он оказался очень хорошим человеком. У нас было много всякой еды. К сожалению, я не запомнил имен своих юных попутчиков, а Борис

Петрович пил водку и спал до самого вечера. Он никогда не называл нас по именам. Проводник вагона его явно боялся и потому помогал ему присматривать за нами. Потом мы пересели в другой поезд и доехали до города Сталинска. Город с огромными заводскими трубами. Здесь нас Борис Петрович передал другому мужчине, с которым мы на грузовой машине долго ехали по глухой тайге. Наконец, после двухдневной ужасающей тряски в кузове, мы приехали в поселок Мыски. Это место называлось Горная Шория. Мужчина велел нам лечь в кузове на солому и не высовываться. Мы слышали, как кто-то подавал команду «Выходить строиться». Тогда мы выглянули за борт и увидели, как женщины в телогрейках спрашивали друг у друга «Что случилось?». Затем мужчина подошел к нам, снял нас из кузова, поставив на ноги у самой машины. Женщины смотрели на нас и что-то говорили. Потом вышел военный и сказал: – Всем стоять на месте. Эти дети не могут вас знать. Но это дети тех, кто писал министру, чтобы их нашли и привезли сюда. – Господи! Господи! – закричали женщины. – Да мы же просили их только найти, а не везти их в колонию... – Отставить крики! – скомандовал военный в фуражке с синим околышем. – По достижении двенадцати лет закон позволяет нам содержать детей по месту отбывания наказания их родителей. Дети, возьмитесь за руки и все трое подойдите поближе к строю женщин... Марш назад, – вдруг взвизгнул он на женщину, кинувшуюся к нам. – Пусть каждая мать этих детей сама узнает своего ребенка. Я не понял, что произошло дальше. Три женщины осторожно, словно по минному полю, двинулись к нам. Потоптавшись около каждого из нас, они вдруг упали на колени и, уронив головы на землю завyli. Они касались лбом земли, а потом подымали голову к небу и вздымали вверх руки, громко причитали. Они не знали, как нас зовут. И весь строй женщин причитал и выкрикивал разные слова, грозя кому-то кулаками. Матери нас узнали, но они не знали, как нас называть... В одно мгновение мы оказались в тесном кругу женщин. Кто-то обнимал меня, кто-то вырывал из объятий, чтобы самой обнять и передать другой женщине... – Дай мне... Шурка, дай мне поддержать... – О-о, Господи!... Детство мое прошло. Оно прошло мимо меня и мимо моей матери. Оно осталось только в памяти.

г. Кингсепп, Ленинградская область – Алматы, 2008.

Журнал «КНИГОЛЮБ», 2008, № 2. Алматы.

Словарик казахских слов

Атааналар кайда? – «где твои родители?»

Байгус, бишара – несчастный, бедняга.

Джайляу – летнее пастбище.

Жетим – сирота.

Жетим-кызы – дословно «дочь сироты»

Курт – сушеный творог из овечьего молока.

Кульчугаи – название одного из казахских племен.

Кутаяк – «длинноногий», распространенная кличка степных овчарок.

Насыбай – разновидность жевательного табака у казахов, закладывается под губу или в нос.

Насыбай имеет синоним с другим словом – «насыбай», т.е. пиписька у младенца. Ритуальная игра слов: пальцем прикасаются к заветному месту ребенка, а затем подносят к своему носу, будто бы закладывают в него насыбай, и нарочито громко при этом чихают.

Тугаи – заросли саксаула в степи.

«Сундет-той» – праздник, посвященный ритуалу обрезания мальчика.